

Плач по Плоти. КНИГА ПЕРВАЯ: ЖНЕЦЫ Господни



САВВА ЛИТУРГИН

18+

Савва Литургин

**Плач по Плоти. Книга
первая: Жнецы Господни**

«Автор»

2026

Литургин С.

Плач по Плоти. Книга первая: Жнецы Господни / С. Литургин — «Автор», 2026

Ойкумена Скорби. Мир, где под землёй покоится Плоть — умирающий Бог, чья агония стала основой всей цивилизации. Церковь собирает человеческую боль в сосуды, называя это Жатвой. Хафидхи молятся шёпотом, чтобы не потревожить Спящего. А где-то в пустыне, в тених, скрываются Дорше — те, чья кровь способна убить саму Плоть. Эдмунд де Бриенн — врач ордена Стражей Плоти. Он должен собирать урожай агонии, но вместо этого тайно лечит безнадежных. Его оружие — флакон с кровью Дорше, запрещённой субстанцией, которая не просто исцеляет, а отрицает саму природу ихора. Когда тайна раскрывается, Эдмунда отправляют под конвоем через всю Утробу — пустыню, где Плоть дышит слишком близко к поверхности. Его цель — Олам, Вечный Город, где Коллегия будет судить его за ересь. Но чем ближе он к Суду, тем яснее становится: Плоть не хочет Жатвы. Она хочет исцеления. И она заговорила — впервые за триста лет. «Плач по Плоти» — это мрачный роман на стыке тёмного фэнтези, боди-хоррора и теологического триллера.

© Литургин С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог: Труп в оркестровой яме	5
Глава 1: Вкус ереси	8
Глава 2: Груз	14
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Савва Литургин

Плач по Плоти. Книга первая: Жнецы Господни

Пролог: Труп в оркестровой яме

*«Истина — это вакуум. Ложь — это
воздух. Выбирай, чем дышать».*

Дум. 113

Дождь над Блэкротом никогда не заканчивался. Он просто менял интонацию. Сейчас он шептал — монотонно, раздражающе, словно сплетник, пересказывающий в тысячный раз одну и ту же грязную историю. Шептал о том, что море гниёт у причалов, что крабы в трюмах отравили себе вторые клешни и научились открывать замки, что в Дырявом Котле опять разбавляют эль крысиной мочой. Город впитывал эту влагу, как старый, невымытый бинт, обмотанный вокруг гноящейся раны залива Гнилозуб.

Имре, Хранитель Доков, дождя не слышал. Он слышал только скрип собственных зубов и тяжелый, мясной звук ударов, от которых его тело содрогалось, прижатое к склизким булыжникам мостовой. Он пытался считать. На третьем ударе он сбился. На пятом перестал чувствовать рёбра. На седьмом в его голове наступила странная, звенящая тишина, в которой было слышно только одно — сосредоточенное, деловитое сопение убийц.

— Хватит, — голос был молодой, но ломкий, как простуженный ворон. — Ты ему черепушку расколешь.

— И чего? — второй голос, низкий, утробный, с ленцой человека, который привык работать кулаками, а не головой. — Мертвецу без разницы, какой он формы.

— Мертвецу — да. А нам — нет. Стражи Сценария ищут закономерности. Разбитая голова — это запись в протоколе. Нам нужен просто труп в канаве. Пьяный дурак поскользнулся. Ударился виском. Никакой драмы. Никакой импровизации. Ты понял, Марас?

Утробный голос, которого называли Марасом, замолчал. Имре услышал, как тяжело дышит его убийца, и это дыхание было ему до отвращения знакомо. Это было дыхание не гнева, а азарта. Дыхание мясника, который слишком сильно любит свою работу. Снова послышался удар, но на этот раз глухой, утробный. Имре понял, что это его собственное тело впечатали в брусчатку. Он не почувствовал боли. Только сожаление. Сожаление о том, что не выпил третью кружку. О том, что не поцеловал дочь перед уходом. О том, что старый шрам на ладони, полученный в море двадцать лет назад, сейчас чесался сильнее, чем обычно.

— Слышь, Ворон, — прогудел Марас. — А может, это самое? В карманах пошустрим? Чего добру пропадать?

— Не трожь, — резко оборвал его молодой. — Это не кража. Это наказание. Он воровал из грузов Компании. Мы — инструмент экономической справедливости. А вора не грабят. Вора казнят. Почувствуй разницу. Это для Сценария тоже важно. Мотив. Если мы возьмем кошель, мы станем не актерами, играющими роль судей, а просто уличной шпаной. Нас найдут за час.

Марас, судя по звуку, сплюнул. — Мудрёно ты всё это, Ворон. Больно мудрёно. А по мне — так просто кокнули человечешку и дело с концом. — «Просто кокнули» и создаёт Хаос,

— отчеканил Ворон. — А Хаос привлекает Внимание. Ты хочешь, чтобы на нас обратили Внимание?

Это слово, «Внимание», он произнес так, что даже дождь, казалось, на мгновение стих, прислушиваясь. Имре, который уже почти ничего не чувствовал, вдруг ощутил ледяной холод. Не от камней, не от смерти. От одного лишь заглавного звука в этом слове.

— Ладно, — буркнул Марас. — Пошли. А то его еще искать начнут. — Не начнут. Он — никто.

Шаги начали удаляться. Шаркающие, тяжелые — Мараса. И быстрые, почти танцующие — Ворона. Но через секунду танцующие шаги замерли.

— Стой, — голос Ворона зазвенел. — Что это у него на шее?

Имре уже почти уплыл в серую, дождливую вечность, как вдруг почувствовал рывок. Грубые пальцы рванули ворот его рубахи. Холодный металл царапнул кадык.

— А это что за хреновина? — в голосе Мараса проснулось жадное любопытство. — Золотая? С камушком. — Дай сюда.

На несколько секунд воцарилась тишина. Имре слышал только, как стучит кровь в его ушах, медленно, прерывисто, словно заводящийся механизм.

— Не трогал? — спросил Ворон странно изменившимся голосом. — Да нет. Висит и висит. Думал, цапка дешевая... — Дешевая? — Ворон издал звук, похожий на нервный смешок. — Ты знаешь, что это за камень? — Откуда? — И я не знаю, — прошептал Ворон. В его голосе впервые за весь вечер прозвучало что-то, похожее на страх. — Я всё знаю, Марас. Я знаю семьдесят три способа отравить человека нектаром Белой Лилии. Я знаю наизусть генеалогию всех двенадцати правящих домов Анклава. Я могу прочесть Кодекс Статики с закрытыми глазами. Но я не знаю, что это за камень. А это значит... Это значит — ему здесь не место. Это не из Сценария. — Ты чего? — Марас, кажется, отступил на шаг. — Ворон, ты чего? Обычная побрякушка. — Заткнись. Мы забираем это. Немедленно. И уходим.

Имре сделал невозможное. Он, чей позвоночник был почти переломлен, а легкие наполнялись кровью, заставил свою руку шевельнуться. Пальцы вцепились в лодыжку убийцы. Не чтобы остановить. Чтобы попрощаться. Чтобы забрать с собой в могилу хоть одно живое прикосновение.

Марас взвизгнул и отпрыгнул. Послышался звук падения.

— Ах ты ж падаль! — заорал он. — Еще живой!

Последний удар пришёлся Имре прямо в висок. Но он уже не видел кулака. Он видел амулет.

Вор, которого звали Ворон, поднёс его к самому лицу, пытаясь разглядеть в скудном свете дождя. Камень в оправе был молочно-белым, но внутри него, в самой сердцевине, плавала черная точка — микроскопическая, как зрачок на бельме. И когда свет фонаря коснулся этой точки, точка расширилась. Она глянула на Имре. Не камень — а именно точка. Глянула осмысленно, с голодным, запредельным любопытством, которого не может быть у мёртвой материи. Это было узнавание. Так смотрит старый, забытый бог, внезапно узнавший своё имя в устах умирающего таракана. Зрачок в камне дрогнул, сузился, и Имре почувствовал, как его собственная смерть — та, что уже вошла в него через разбитый висок — вдруг остановилась. Замерла на месте, словно испуганная лошадь перед разверзшейся бездной. Она не забрала его. Она чего-то ждала.

Марас вырвал амулет, и наваждение схлынуло. Смерть ринулась вперёд, навёрстывая упущенное. Но за эту долю секунды, за эту микроскопическую задержку между жизнью и небытием, лицо Имре успело измениться. Мышцы застыли не в предсмертной маске ужаса или боли. Его лицо, обрамлённое грязной лужей, выражало эмоцию, для которой у патологоанатомов Блэкбота не было названия. Благоговейный, запредельный, щенячий восторг. Собака,

которую только что пнул сапогом её собственный создатель, и она, подыхая, наконец поняла, зачем существует этот сапог и чья нога в нём. В этом восторге не было ничего человеческого.

Когда трое из Церкви Последнего Акта найдут его через три часа, Инквизитор Вейл, слепой от рождения к обычному свету, долго будет стоять над трупом, водя над ним раскрытой ладонью. И, наконец, изречёт своим функциональным голосом, в котором впервые прорежется нечто похожее на зависть:

— Он видел Не-Сценарий. И тот посмотрел на него в ответ.

Затем он прикажет не просто убрать труп, но и выскоблить булыжники, на которых лежала голова, заменив их освящёнными из хранилища. Место, где умирающий коснулся взглядом истинного Хаоса, не должно оставаться в ткани города.

Глава 1: Вкус ереси

«Не называй смертью то, что видишь. Называй приношением. Ибо что есть смерть, как не плод, возвращаемый в Утробу?»

Кац. 7:4

Слова ещё висели в воздухе — *«Не молись, ибо некому внимать»*, — а Эдмунд уже понял, что переступил черту. Он смотрел в глаза Ансельму, и в этих серых, как пепел Олама, глазах не было гнева. Было узнавание. Так смотрит голодный пёс на раненого зайца.

Капеллан молчал. Молчание длилось ровно столько, сколько требуется, чтобы прошептать Символ Веры Плоти на выдохе. Затем Ансельм перевёл взгляд на Корвуса.

— Пьер, — голос капеллана был тих и ровен, как литургия. — Оставь таз и ступай за отцом-интендантом. Скажи: потребны сосуды для Жатвы. Третья степень.

Пьер побледнел ещё сильнее — если такое вообще было возможно для мальчишки, который последние три дня питался только просяной похлёбкой и страхом. Третья степень означала, что Корвуса будут потрошить не мёртвого, а ещё живого, чтобы агония была чистой, без примеси трупного окоченения.

Пьер приложил правую ладонь к левому плечу — туда, где, по учению Коллегии, Плоть возложила на каждого человека невидимую ношу. Затем опустил руку к бедру, касаясь той кости, из которой, согласно «Псалмам», был сотворён первый человек. И наконец, задержав вдох — ибо душа выходит с выдохом, так учили старухи, — прижал ладонь к губам, запечатывая себя изнутри.

Это был Знак Бремни — древний апотропеический жест, запрещённый Коллегией за неканоничность, но вкоренённый в простонародье глубже, чем любой литургический устав. Плечо — Бесценная Ноша. Бедро — Корень Рода. Уста — Печать Молчания. Три печати, наложенные на тело, чтобы душа не покинула его до назначенного Жатвой срока. Женщины на рынках совершали его, провожая мужей в море. Дети — когда видели похоронную процессию. Солдаты — перед боем, когда священника не было рядом, а умирать всё равно было страшно.

И, совершив этот жест, Пьер выскользнул за дверь.

Эдмунд остался один на один с капелланом.

Ансельм не двигался. Он стоял в проёме, загораживая выход, но не угрожая. Его руки были сложены на животе, в рукавах сутаны. Чётки — чёрные костяшки, вырезанные из пальцев святых мучеников, — свисали с пояса без движения.

— Брат Эдмунд, — произнёс он наконец. — Ты процитировал «Книгу Безмолвия». Запрещённый текст. Ересь Доршей. Где ты его слышал?

Эдмунд не ответил. Его левая рука прижимала к груди флакон под сутаной. Правая лежала на лбу Корвуса, проверяя жар. Корвус метался в забытьи, губы шептали обрывки Псалма семнадцатого: «...взрастёт из неё покой...»

— Я задал вопрос, — Ансельм шагнул вперёд. Половица под ним не скрипнула. Он всегда ходил бесшумно, словно не имел веса. — Где. Ты. Слышал. Этот. Стих.

— В бою, — ответил Эдмунд, не оборачиваясь. — При Мигдаль-Эвель. Дорше, которого я пленил. Он пел это, когда его жгли.

Правда. И неправда. Пленник пел другое, но какая разница, если ложь звучит правдоподобнее истины?

Ансельм подошёл ближе. Теперь он стоял у изголовья Корвуса, глядя на Эдмунда сверху вниз. От него пахло не ладаном, а сухой глиной и старым пергаментом — запах архивариуса, а не священника.

— Ты лжёшь, — сказал капеллан без выражения. — Но это неважно. Важно другое: ты держишь руку на его лбу, а не на сосуде для Кацира. Ты не готовишь его к Жатве. Ты лечишь его.

— Я врач.

— Ты Жнец, — Ансельм наклонился. — Ты давал обет. «Плотью спасём Плоть». Не лекарствами. Не припарками. Ты — Шомер Ха-Басар, Страж Плоти, а не деревенский знахарь. Твоя задача — собрать урожай, а не сажать новый.

Корвус застонал. Его спина выгнулась дугой, пальцы заскребли по грубой ткани тюфяка. Из дренажной трубки в медном тазу запузырилась сукровица — густая, с зеленоватым отливом, пахнущая гнилым миндалём. Признак того, что ихор в его крови начал закипать.

— Он умирает, — сказал Эдмунд.

— Да, — согласился Ансельм. — И его смерть принадлежит Плоти. Не тебе.

Капеллан протянул руку. Не к горлу Эдмунда — к груди. Туда, где под сутаной лежал флакон.

Эдмунд отшатнулся, но Ансельм был быстрее. Его пальцы, сухие и цепкие, как корни старого дерева, сомкнулись на запястье Эдмунда с силой, которой нельзя было ожидать от тщедушного старика.

— Там что-то есть, — прошептал Ансельм. — Под сутаной. Дай взглянуть.

И в этот момент Корвус открыл глаза.

— Вкусите, — прохрипел он, и оба — и Эдмунд, и Ансельм — замерли. — Вкусите от Плоти Его...

Корвус не говорил. Он цитировал. Но не Псалмы. Он цитировал «Завет Отделения» — апокриф, отвергнутый даже Хафидхами, текст настолько запретный, что за одно лишь знание его названия полагалась не Жатва, а «Исхождение» — медленное вываривание в ихоре, при котором плоть отделяется от костей, а душа — от плоти.

— Он бредит, — сказал Эдмунд.

Но Ансельм уже отпустил его запястье. Капеллан отступил на шаг. Его лицо, всегда бесстрастное, выражало нечто новое. Не страх. Интерес.

— Завет Отделения, — произнёс он медленно, словно пробуя каждое слово на вкус. — Твой умирающий цитирует Завет Отделения. А ты цитируешь Книгу Безмолвия. Интересная у тебя палата, брат Эдмунд. Очень интересная.

Он развернулся и пошёл к двери. У порога остановился.

— Я пришлю отца-интенданта с сосудами. Ты проведёшь Жатву сам, Эдмунд. Своими руками. Сегодня. Или завтра ты сам ляжешь на этот тюфяк, а я лично прослежу, чтобы твоя агония была... максимально эффективной.

Дверь закрылась.

Эдмунд остался один.

Он вытащил флакон из-под сутаны. Маленький, из тёмного стекла, заткнутый пробкой из кости. Внутри колыхалась чёрная маслянистая жидкость — кровь Дорше, анти-ихор, проклятая субстанция. Три года он носил её у сердца. Три года использовал по капле, чтобы спасти таких, как Корвус — безнадежных, списанных, обречённых на Жатву. Три года лгал.

Корвус снова застонал. Его губы зашевелились, но на этот раз он не цитировал. Он молился. Тихо, по-детски, без заученных формул:

— Господи... если Ты там... если Ты ещё дышишь... забери меня быстро...

Эдмунд откупорил флакон. Чёрная капля упала в треснувшую глиняную чашку с водой.

Вода не зашипела — она *вскрикнула*. Пошла трещинами, как лёд в первую зимнюю стужу. На мгновение стала прозрачной, как горный хрусталь, и в этой прозрачности Эдмунд увидел дно чашки — каждая царапина, каждая трещинка глины проступила с неестественной, болезненной чёткостью. А затем по краям чашки пополз иней. Тонкий, серебристый, он за несколько мгновений покрыл ободок, и Эдмунд почувствовал, как пальцы обжигает холодом — не тем, что снаружи, а тем, что идёт изнутри самой субстанции.

А потом из чашки ударил свет.

Не тёплый, не золотой — мертвенный, синеватый, какой бывает над болотами в гнилую полночь. Он не освещал — он высасывал цвета. Тени в лазарете вытянулись, посинели, словно сама реальность на мгновение прищурилась, пытаясь разглядеть то, чего здесь быть не должно. Свет Доршей — холодное пламя Пустоты, анти-ихор, реагирующий на воздух этой богохульной люминесценцией.

Эдмунд знал: если бы сейчас сюда вошёл Ансельм, этот свет рассказал бы ему всё. О флаконе. О крови. О трёх годах лжи.

Анти-ихор не грел. Он высасывал тепло. Он был абсолютным нулём, заточённым в каплю жидкости.

Эдмунд поднёс чашку к губам Корвуса, но тело умирающего отреагировало раньше, чем разум. Корвус задрожал — мелкой, судорожной дрожью, как замерзающий пёс. Его зубы застучали, выбивая дробь, которая, казалось, звучала громче колоколов Мигдаль-Эвель. Он попытался отвернуться, отстраниться от источника холода — инстинкт, вбитый в плоть задолго до того, как первый пророк написал первый Псалом. Живое не принимает Пустоту. Живое хочет тепла, даже если тепло — это ихор, даже если ихор — это гниль.

— Тише, брат, — прошептал Эдмунд, удерживая его голову. — Тише. Я знаю, что это страшно. Но это — жизнь.

И когда дыхание Корвуса вырвалось наружу густым паром — словно на дворе стояла глубокая зима, а не душный вечер, — Эдмунд поднёс чашку к его губам.

— Пей, брат. Это не Его кровь. Это Его отсутствие. Но оно спасёт тебя.

Корвус пил. Судорожно, захлёбываясь, как пьют после долгой жажды. А Эдмунд смотрел на дверь, за которой скрылся Ансельм, и знал: капеллан не просто ушёл. Он пошёл за ответами. И когда он их найдёт — а он найдёт, — флакон станет не спасением. Он станет уликой.

Где-то в недрах Мигдаль-Эвель, в башне, которую называли «Пальцем Указующим», зазвонил колокол. Не к мессе. К Жатве.

Тишина после ухода Ансельма не была пустой. Она была наполнена тиканьем — каплями сукровицы, падающими в медный таз, скрипом половиц где-то наверху, далёким, едва слышным стоном ветра в бойницах Мигдаль-Эвель. И в этой тишине Эдмунд считал удары собственного сердца.

Он знал, что Ансельм не просто ушёл молиться. Капеллан пошёл в архив. Или в библиотеку. Или в ту каморку под лестницей, где он хранил свои записи — тома в кожаных переплётках, пахнущих уксусом и старым воском. Ансельм будет искать. Он будет сопоставлять: «Завет Отделения» из уст умирающего Корвуса, «Книга Безмолвия» из уст его врача, странные выздоровления в палатах Эдмунда за последние три года. Он сложит кусочки, и картина получится ясной, как витраж в Микдаш Ха-Басар.

Эдмунд был еретиком. Хуже — он был предателем внутри Ордена. Он использовал кровь врага, чтобы спасти тех, кого Плоть требовала в жертву. И наказание за это было не просто смерть. Это было Исхождение.

Он посмотрел на флакон в своей руке. Крови Дорше оставалось на доньшке. Ещё две, может, три дозы. А затем — всё. Он больше не сможет лечить. Он больше не сможет спасти. Он станет обычным Жнецом, каким был до встречи с умирающим еретиком три года назад.

Он провёл ладонью по грубой шерсти сутаны, словно проверяя, цела ли ткань бытия, скрывающая его от глаз Ансельма и Коллегии. Шерсть была жёсткой, колючей — такой её делали в Мигдаль-Эвель, вымачивая в соляном растворе для крепости. Под ней, сквозь влажную от пота рубаху, он чувствовал холод флакона, который снова прижимал к груди.

Корвус дышал ровнее. Жар спадал. Противоядие работало — чёрная кровь Ищущих Смерти гасила ихор, как вода гасит масляный пожар. К утру он будет слаб, но жив. К утру Ансельм это заметит.

Нужно уходить.

Мысль была чужой, неправильной, пугающей. Куда уходить? За стенами Мигдаль-Эвель лежала Утроба — пустыня, кишачая отрядами Хафидхов, Доршей и тварями, которых не описать ни в одном Писании. Дезертирство каралось не просто смертью — «Печатью Иуды»: раскалённым клеймом на лоб, после которого любой встречный обязан был убить тебя на месте. И всё же мысль осталась. Засела, как заноза.

Дверь отворилась.

Эдмунд вздрогнул и спрятал флакон, но это был не Ансельм. Это был Пьер. Мальчишка вбежал, запыхавшийся, с красными пятнами на щеках — единственным признаком жизни на его вечно бледном лице.

— Отец-интендант идёт, — выпалил он. — С сосудами. И с ним... с ним какой-то человек. Не из наших. Из Олама.

— Из Олама? — Эдмунд нахмурился. — Кто?

— Я не знаю. Он в сером. Без лица.

У Эдмунда похолодело в груди. «Без лица» на языке послушников означало одно: Инквизитор Вейл. Или кто-то из его ведомства. Слухи о Вейле ходили по всему Ордену — говорили, что его глаза зашиты серебряной нитью, что он видит не зрением, а болью, что он чувствует ересь за милю, как пёс чувствует кровь. Говорили, что он никогда не ошибается.

— Когда они будут здесь?

— Прямо сейчас, — прошептал Пьер, и в его голосе был страх. Не тот обычный страх, с которым он жил каждый день, а новый, острый, как лезвие. — Он спрашивал о вас, брат Эдмунд. По имени.

Эдмунд посмотрел на Корвуса. Тот спал. Его дыхание было ровным, лицо порозовело. Любой, кто войдёт сюда, увидит: этот человек не умирает. Этот человек выздоравливает. А в лазарете Жнецов выздоровление без Жатвы — это улика.

— Пьер, — сказал Эдмунд тихо и быстро. — Ты помнишь, как мы прятали того пса? У кухни, когда повар хотел пустить его на похлёбку?

Пьер замер. Пёс был запрещён — животные считались нечистыми, их близость оскверняла ритуалы. Но Эдмунд тогда сказал: «Не всё, что запрещено, — зло». И они спрятали пса в старом колодце.

— Помню, — прошептал Пьер.

— Здесь то же самое. Корвус не должен выглядеть здоровым. Укрой его. Дай ему выпить это, — он сунул мальчишке флакон. — Несколько капель. И найди тряпки, пропитанные уксусом — положи ему на лоб, чтобы запах перебил. Он должен пахнуть смертью.

Пьер взял флакон дрожащими руками. Но прежде чем спрятать его под рубаху, он перевёл взгляд с медного таза — серой, зеленоватой сукровицы, что уже начала загустевать по краям, — на лицо Корвуса.

Корвус дышал. Его лицо больше не было серым. На щеках проступал слабый, едва заметный румянец — цвет жизни, а не Жатвы. Пьер протянул руку и коснулся щеки Корвуса — осторожно, как прикасаются к мощам. Кожа была тёплой. Обманчиво тёплой, как печь, в которой уже прогорели все дрова, но глина ещё хранит память огня. Пьер знал: внутри этого тела течёт

ледяная пустота. Анти-ихор, высасывающий тепло из самой души. И то, что Корвус выглядел живым, было самым страшным доказательством того, что произошло чудо — или колдовство.

И, глядя на это лицо, Пьер вдруг подумал о том, о чём запрещал себе думать всю свою короткую жизнь.

Если Корвус умрёт сейчас — не на Жатве, а просто так, своей смертью, без сосудов, без Кацира, — куда пойдёт его душа?

Коллегия учила: душа, не отданная Плоти, рассеивается в Пустоте. Это хуже смерти. Это небытие без надежды на Второе Удобрение. Но старухи в деревне, где родился Пьер, шептали другое. Они говорили, что где-то за гранью, за пределами досягаемости Плоти, есть иной Бог. Не мёртвый. Не спящий. Живой.

Пьер не знал, кому верить. Но, глядя на спящего Корвуса, он вдруг понял: если тот умрёт сейчас, его душа уйдёт туда, куда не дотянутся иглы аудиторов и сосуды Жнецов. Может быть, в Пустоту. А может быть, к Тому, кто ещё дышит.

Имре, умирая в дождливом переулке Блэкрота, тянулся к лодыжке убийцы — к живому, тёплому, чтобы забрать с собой хоть одно прикосновение. Пьер сейчас тянулся к себе. К своему плечу, бедру, губам. Он не забирал — он удерживал. Имре искал жизнь вовне. Пьер запечатывал её внутри.

Я не хочу, чтобы он умирал, — сказал себе Пьер. *— Но если он умрёт — пусть умрёт свободным.*

Он сжал флакон.

— Я всё сделаю, — сказал он. И впервые за три года его голос не дрожал.

— А вы? — спросил он Эдмунда.

— А я встречу гостей.

Эдмунд вышел в коридор. Шаги уже раздавались за поворотом — тяжёлая поступь отца-интенданта и... ничего. Второй человек не издавал звуков. Словно шёл, не касаясь пола.

Первым появился отец-интендант, грузный мужчина с багровым лицом и вечно потными ладонями. Он нёс два «сосуда гнева» — оцинкованные кувшины с узким горлом, заткнутые пробками из бедренной кости. За ним...

Эдмунд ожидал увидеть высокого старика с зашитыми глазами. Но этот человек был другим. Моложе. Лет тридцати, не больше. Его лицо было открыто, но от этого не становилось менее страшным — оно было *слишком* спокойным, *слишком* правильным, как лик святого на иконе. Ни морщин, ни эмоций. Одет он был в серую сутану без знаков различия, но на поясе висела серебряная «игла допроса» — тонкий стилет длиной в ладонь, используемый Инквизицией для проверки нервов на ересь. Человек остановился в трёх шагах от Эдмунда и посмотрел на него.

Не глазами. Чем-то ещё.

— Брат Эдмунд, — произнёс он без интонации. — Я — аудитор Кассиан, посланник Коллегии Понтификов из Олама. Мне поручено сопровождать караван со Слезами Рахили. Я слышал, вы — лучший врач в этом гарнизоне.

Эдмунд не знал, что ответить. Он ожидал обвинения, ареста, допроса — но не этого.

— Я... служу по мере сил, — выдавил он.

— Хорошо, — Кассиан кивнул. — Караван выходит завтра на рассвете. Вы поедете с нами.

— Я? — Эдмунд не сумел скрыть удивления. — Но мои обязанности здесь...

— Ваши обязанности здесь, — перебил аудитор, и в его голосе впервые прорезалось нечто похожее на эмоцию, — уже известны Коллегии. Ансельм прислал отчёт. Он упоминает о ваших... методах.

Эдмунд почувствовал, как кровь отливает от лица.

— Однако, — продолжил Кассиан, — разбирательство подождёт. Сейчас приоритет — Слёзы Рахили. Груз должен быть в Оламе к Празднику Второго Удобрения. Вы поедете как врач каравана. Ваш опыт с... нестандартными лекарствами может пригодиться в пути. — Он сделал паузу. — А когда мы прибудем в Олам, Коллегия решит вашу судьбу.

Отец-интендант, всё это время стоявший с сосудами в руках, кашлянул.

— А как же Жатва? — спросил он. — Вот, Корвус, третья степень...

— Отложить, — бросил Кассиан, не оборачиваясь. — Приказы Коллегии выше приказов Ансельма. Если Корвус умрёт в моё отсутствие — соберите. Если выживет... — он посмотрел на Эдмунда, и в его глазах мелькнуло что-то, похожее на усмешку, — значит, на то воля Плоти.

Аудитор развернулся и пошёл прочь, всё так же бесшумно. Отец-интендант, покрывшись, поставил сосуды на пол и последовал за ним.

Эдмунд остался в коридоре один.

Воля Плоти. Он знал, что ни один аудитор Коллегии не верит в волю Плоти. Они верили в отчёты, улики и иглы допроса. Кассиан не спас его. Кассиан отложил приговор до прибытия в Олам. А это значило, что путь через Утробу будет не просто дорогой. Это будет конвоем смертника.

Он вернулся в палату. Пьер сидел у постели Корвуса, сжимая в руке пустой флакон. Лицо мальчика было мокрым от слёз.

— Я не успел, — прошептал он. — Он не пьёт.

Эдмунд подошёл ближе. Корвус лежал неподвижно. Его губы посинели, веки застыли в полуприкрытии. Но он дышал. Редко, поверхностно, но дышал.

— Он не умер, — сказал Эдмунд. — Противоядие подействовало. Но его тело слишком слабо. Ему нужен покой.

— А если Ансельм вернётся? — спросил Пьер.

— Ансельм получил приказ от аудитора. Он не посмеет тронуть Корвуса, пока караван в пути. — Эдмунд положил руку на плечо мальчика. — Но ты прав: он вернётся. И тогда Корвусу понадобится помощь. Ты останешься здесь. Ты будешь его лечить.

— Но я ничего не умею...

— Научись. — Эдмунд полез под тюфяк и достал потрёпанный кожаный мешочек — свой походный набор. Внутри были иглы, нити из кишок, сушёные травы и маленький, ещё не откупоренный пузырёк с настойкой опия. Он протянул его Пьеру. — Это для боли. Не для Жатвы. Для жизни. Ты понял?

Пьер кивнул, хотя его глаза говорили: «Я не справлюсь».

Эдмунд знал этот взгляд. Он сам смотрел так три года назад, когда умирающий Дорше вложил ему в руку свой жёлчный пузырёк и сказал: «Возьми. Это чистота. Её мало, но хватит, чтобы ты понял».

— Я вернусь, — сказал Эдмунд. — Из Олама или из Шеола — но вернусь. А пока...

Он подошёл к окну. За узкой бойницей, за зубчатой стеной Мигдаль-Эвель, занимался рассвет. Серый, пыльный, безрадостный. Где-то там, в трёх днях пути, лежала Тропа Рыданий — дорога, с которой не возвращаются.

— А пока мне нужно собираться.

Глава 2: Груз

*«Не возноси голос в молитве, дабы
не потревожить Спящего в Утробе.
Ибо крик твой — песок в Его рану,
и гнев Его пробудится».*

Хамс. 5:3

Рассвет над Мигдаль-Эвель не был похож на рассвет. Он не золотил стены, не пел птицами, не обещал нового дня. Он просто разбавлял тьму до состояния грязной воды, процеженной сквозь пепел и песок. Ветер, прилетавший со стороны Утробы, пах не травами и не морем — он пах камнем, нагретым за день, и застарелой кровью.

Эдмунд стоял во внутреннем дворе крепости и смотрел, как запрягают волов.

Животные были особой породы — «звери Иова», как называли их погонщики. Кожа, лишённая шерсти, лоснилась в утреннем полумраке, напоминая поверхность затянувшейся раны. На боках проступали рёбра — не от голода, а от природы: этих волов выводили специально, чтобы они впитывали испарения скорби всей поверхностью тела. Эдмунд, приглядевшись, заметил то, чего не замечали погонщики: вдоль хребта самого старого вола тянулась цепочка гнойничков — мелких, с булавочную головку, но явно болезненных. Кожа вокруг них была воспалена, а в одном месте лопнула, и сукровица — обычная, животная, не ихор — запеклась бурой корочкой. «Скорбь разъедает их не только изнутри», — подумал он. Это была та же болезнь, что поражала Жнецов, слишком долго работавших на Жатве: тело, перенасыщенное чужой болью, начинало гнить. Волы умирали святыми. Но перед этим они умирали заживо.

В храмах Олама говорили, что каждый такой вол принимает на себя часть человеческой боли. Погонщики говорили другое: «Дольше трёх рейсов ни один не живёт».

Эдмунд поправил перевязь. Меч он оставил — какой от меча толк против Хафидхов, если они нападут? — но взял походный набор, тот самый, что показывал Пьеру. Флакон с остатками крови Дорше он спрятал на груди, под вторым слоем шерсти. Холод стекла сквозь влажную от пота рубаху и колючую сутану — ту самую, что вымачивали в соляном растворе для крепости, — был единственным, что напоминало ему: он ещё жив. Кожа флакона, мягкая от долгого ношения, тёрлась о грубую шерсть, и контраст этот — мягкого и жёсткого, тёплого тела и ледяного стекла — держал его в сознании лучше любого опия. Пробка из бедренной кости, стёртая пальцами за три года, холодила кадык каждый раз, когда он сглатывал. Всё остальное — руки, ноги, сердце — казалось чужим.

Двор постепенно заполнялся. Отец-интендант, чьё багровое лицо, казалось, не меняло выражения даже во сне, руководил погрузкой. Два «сосуда гнева» — те самые, что он принёс ночью, — уже стояли на специальной повозке, закреплённые кожаными ремнями. К ним добавили ещё четыре. Шесть оцинкованных кувшинов, заткнутых пробками из бедренной кости. Шесть сосудов со Слезами Рахили — материнской скорбью, собранной в Авене за последние полгода. Говорили, что слёзы матерей питают Плоть лучше любой другой жертвы, ибо в них нет ни капли фальши, ни грамма корысти. Только чистая, незамутнённая боль.

— Говорят, один такой сосуд стоит годового урожая с полей Олама, — раздался голос за спиной.

Эдмунд обернулся. К нему подходил человек, которого он раньше не видел. Невысокий, коренастый, с лицом, изрезанным шрамами — старыми, побелевшими от времени, но всё ещё глубокими. Одет он был не в сутану Стража, а в промасленную кожаную куртку погонщика. На поясе висел короткий меч, а на плече — кнут, свернутый кольцами, как спящая змея.

— Феррин, — представился он, протягивая руку. — Старший каравана. А вы, стало быть, тот самый врач-еретик, за которым Коллегия прислала аудитора?

Эдмунд замер. Рука, которую он уже начал поднимать для пожатия, застыла в воздухе.

— Не пугайтесь, — Феррин усмехнулся одними губами. Глаза его оставались холодными и цепкими. — Я двадцать лет вожу грузы через Утробу. Я чую еретика за милю, как вол чует воду. Но мне плевать, во что вы верите. Мне важно, чтобы вы делали свою работу. Аудитор сказал, вы — врач. Значит, будете лечить моих людей. Остальное — не моё дело.

Он развернулся и пошёл к повозкам, бросив через плечо:

— Ваша повозка — третья. Рядом с грузом. Аудитор распорядился.

Эдмунд выдохнул. Он ещё не привык к тому, что его ересь стала чем-то вроде слуха, который бежит впереди него быстрее любого коня. Ансельм постарался. Или Кассиан. Или сама Коллегия решила, что прозрачность — лучшая форма контроля. «Пусть все знают, что ты под подозрением, — подумал он. — Тогда никто не захочет тебе помогать».

Он направился к третьей повозке. Она была крытой — деревянный каркас, обтянутый промасленной тканью, чтобы защищать «сосуды гнева» от солнца. Внутри уже сидел человек.

Эдмунд замер у заднего борта. Человек был молод — может, двадцать, может, двадцать пять. Его кожа была смуглой, но не той смуглотой, что бывает от солнца, а той, что передаётся с кровью поколений, живших под этим солнцем веками. Одет он был в простую рубаху и штаны, но на шее висел амулет, которого Эдмунд никогда не видел у Стражей — серебряная пластина с выгравированным кругом, разделённым на три части. Символ Хафидхов. Знак Единства Боли.

— Ты кто? — спросил Эдмунд, и рука его потянулась к груди, где под сутаной лежал флакон.

Человек поднял глаза. Они были тёмными, почти чёрными, но в глубине их горел странный, лихорадочный огонь — такой Эдмунд видел у людей, которые слишком долго смотрели в пустыню.

— Захир, — сказал он. Голос был тихим, но не шёпотом. Так говорят люди, привыкшие сдерживаться. — Я — проводник. Меня нанял аудитор. Я знаю Тропу Рыданий.

— Ты — Хафидх, — сказал Эдмунд.

— Да, — просто ответил Захир. — А ты — Шомер Ха-Басар. Врач-еретик, который лечит врагов кровью врагов. Я слышал о тебе.

Эдмунд почувствовал, как холод флакона на груди становится острее. А вместе с холодом пришло удушье — не физическое, а то, что бывает в кошмарах, когда хочешь закричать и не можешь. Ворот сутаны, ещё минуту назад свободный, вдруг сжался вокруг горла, словно чья-то невидимая рука применила тот самый запрещённый приём, которому учили в ордене: «пережать Сосуд Духа» — лишить противника выдоха, а значит, и души. Эдмунд сглотнул. Кадык дёрнулся, царапая о жёсткую шерсть.

— И что ты слышал? — спросил он, стараясь, чтобы голос звучал ровно.

— Что ты спас человека, которого должны были отдать на Жатву. Что ты использовал запрещённую кровь. Что аудитор везёт тебя в Олам на суд. — Захир помолчал. — И что ты, возможно, единственный Страж, который не хочет, чтобы Плоть проснулась.

Эдмунд не нашёлся с ответом. Последнее утверждение было настолько еретическим, что он даже не знал, как его опровергнуть. Потому что оно было правдой.

— Не бойся, — сказал Захир, отводя взгляд. — Я не предаю тебя. Мне тоже невыгодно, чтобы Плоть проснулась. Если Она проснётся, моя родина, Авен, обратится в пепел первой. Мы, Хафидхи, не так глупы, как думают ваши проповедники. Мы не хотим конца света. Мы просто хотим, чтобы он наступил не сегодня.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.